



Владимир АЛЕЙНИКОВ

г. Москва

ПАМЯТИ ЛЕОНИДА ГУБАНОВА

I

...Звезда самиздата.

Она взошла для меня в октябрьском небе, после Покрова, осенью шестьдесят четвертого. Взошла — чтобы указать мне духовный путь, чтобы сохранить меня на всех перепутьях, дорогах и тропах земных. До её появления надо мной двигался я куда-то вперёд и вверх интуитивно, после — уже осознанно, ведомый ею, повсюду с нею, на свет её. Так было, так есть — и, конечно же, будет, — я знаю.

Тогда, уже вечером, в час, когда за окном темнело, вдруг позвонил мне Губанов. Голос его — звенел:

- Володя, привет! Это ты?
- Конечно же, я. Здравствуй, Лёня!
- Ты меня слышишь?
- Слышу.
- Хорошо меня слышишь?
- Да.
- Завтра Хрущёва скинут!
- Откуда ты знаешь?

— Знаю.

— И всё-таки?

— Мать сказала.

Сведения исходили от его матери, работавшей в ОВИРе. Там, надо полагать, о многом знали наперёд.

Впрочем, пообжившись в Москве, довольно скоро я понял: просто — страна у нас такая, особенная, сама по себе, из сказок Афанасьева, с волшебной системой оповещения, — ещё и событие не произошло, а о нём все уже знают заранее.

Но тогда я не на шутку разволновался.

Какие перемены грядут? Что будет с нами?

Ясно было: начинается новая эпоха.

Был тихий, тёмный вечер в октябре.

Возможно — как затишье перед бурей.

Возможно — как предвестие зимы.

В моей коммунальной комнате на Автозаводской горела настольная лампа, волнами плескалась негромкая музыка из старенького приёмника.

Внезапно я ощутил — зов.
Что это было? Что вело меня? Не объяснить.

Ещё звучал в телефонной трубке губановский голос, — но уже смутно доносилось до меня содержание сбивчивого Лёниного повествования о чём-то сугубо московском, для него, возможно, и важном, для меня же второстепенном и не больно-то интересном, характерного для него, тогдашнего, молодого, энергичного повествования, в котором певучие, акающие, полуплачущие интонации смешивались с задиристыми, заковыристыми словечками в озорстве подросткового рискованного, дворового сорванца, — и присутствие смысла другого, изначально высокого, ясного, стало вдруг для меня очевидным — там, вдали, — но и где-то рядом, прямо здесь — и повсюду, в каждом, полном веры, любви, надежды, неизбежном, земном, юдольном — и небесном, поскольку с небом связь души бесспорна, — мгновенье, за которым встает горенье и ведёт за собой даренье духа, света, пути и дома, ну а с ним и речи моей, — и я уже знал, что делать.

— Лёня, — сказал я Губанову, — давай поедем с тобой в Переделкино. Прямо сейчас.

- Куда? — удивился Губанов.
- В Переделкино. Что, непонятно?
- Зачем?
- К Пастернаку.
- Что?
- На могиле его побываем.

Лёня помедлил секунду. Всего лишь. И тут же сказал:

— Я всё понял. Едем! Вдвоём. Немедленно! Слышишь? Едем!

- Где встречаемся?
- Где? В метро.
- На Киевской?
- Да. Кольцевой. Посередине зала.
- Во сколько?
- Давай в восемь тридцать. Успеешь?
- Успею. Идёт.
- Ну, я тогда выхожу.
- Я тоже.
- До встречи?
- До встречи!

Я оделся и выбежал из дому.

По дороге, подумав, что это нам может пригодиться, купил в магазинчике продовольственным две бутылки вина, сигарет.

Быстро дошёл до метро. Спустился по эскалатору вниз, к поездам. И вскоре в заполненном пассажирами, летящем вперёд вагоне, вовлечённый, с ним вместе и вместе со всеми людьми, в движение, как и все, отражаясь в стёклах оконных, зеркальных, тёмных, и думая о своём, ехал на встречу с Лёней.

Странно всё-таки — для меня — было думать о том, что завтра предстоит. Сегодня Хрущёв — самый главный в стране человек. Начальник. Гонитель искусства. Властитель. Практически царь Никита. Лысый, горластый. Башмаком стучавший в ООН. Формалистов громивший нещадно. Вот и мне пострадать пришлось из-за ненависти его к новизне в поэзии, в живописи. Обошлось. Видно, Бог миловал. Но досталось, впрочем, изрядно. Помню, помню. Статейки в газетах. Проработки во всяких инстанциях. Неприятностей целый воз. Эх, да что там! — всякое было. Есть Хрущёв — сегодня. Пока что. Ну а завтра его уже снимут.

Сегодня какое число?

Пятнадцатое октября.

И я обо всём, что завтра только произойдёт, этак запросто, по знакомству, почему-то знаю заранее.

До того, как сами события произошли. Чудно!

Тут любой человек удивится: почему это — именно так? И откуда идёт удивление? Где исток его? Где начало?

Но в Москве, как я успел понять, всё бывает, решительно всё, — и такое, что всем потом не покажется, кстати, мало.

Видно, город главный таков. Стольный град. Над семью холмами, над бесчисленными домами, вместо чести витает весть.

Да и люди живут в нём разные. И незримая грань меж ними, если вдуматься и всмотреться чуть попристальной, всё-таки есть.

Кто не ведает ни о чём и понятия не имеет о таком, что незримыми нитями и с людскими судьбами связано, и с судьбою всей нашей страны, о

таким, что, пожалуй, давно уже называется коротко — знаковым.

Ну а кто-то — прекраснейшим образом обо всём — неизвестно какими то ли тропками, то ли путями, из разряда подспудных, внутренних, но таких, по которым спокойнее в этой жизни повсюду ходить, благо слухи у нас, как правило, под собою почву имеют неизменно, — осведомлён.

Как бы то ни было — даже я о грядущем загадочно знал.

Мы с Губановым встретились — там, где назначена встреча была, в середине зала, в метро. Поздоровались. Оба мы были напряжёнными почему-то. Состояние было таким, будто нам предстояло выполнить боевое задание некое. Или, может, на что-то решиться непривычно серьёзное, важное. Или — сделать какой-то шаг, пусть один всего, но существенный. Но какой? И зачем? И куда? Мы не знали ещё. Но — чуяли, что куда-то шагнём сегодня, безоглядно и широко. Может, сразу же — в новизну? Может, в область, где всё же сбудутся наши чаянья и мечты? Может быть, навстречу грядущему? Ну а может быть, на мучительный, но единственно верный путь? Мы не знали. Но состояние было нашим — на кромке, на грани, за которой начнётся нечто небывалое, да такое, что сравнить его будет не с чем, и подобий его не будет, и ему аналогов люди никогда уж не подберут.

Мы прошли на платформу. Там дождались электрички своей. И она подошла уже вскоре. И зашли мы в вагон — и там, в герметичном, полупустом и унылом пространстве, присели на скамейку возле окна. Так устроились мы, по привычке. За окном рокотал вокзал, мельтешили огни, звучали объявления о прибытии и отбытии поездов. Электричка тронулась с места, набрала постепенно скорость, вырываясь из круга столицы на простор Подмосковья, за город. За окном разливался вечер темнотой своей, желтизною придорожных рощиц неброских, глубиной далей лесных. Мы смотрели в окно — и молчали почему-то. Мы были — в пути.

Мы знали о том, что завтра предстоит. Весть об этом пришла в этот вечер ко мне от Губанова,

а к нему — от его матери, ну а к ней — ещё от кого-то, и так далее, по цепочке, по людскому, всегда достоверному и вернейшему телеграфу, без всяких там передаточных аппаратов и проводов, на словах, по-людски, по-простому, но слова эти — много значили. Мы, с усилием правда, оба понимали, что так всё и будет.

Но было ещё и другое. Нам не верилось. Ну, не очень-то в чудеса информации верилось. Почему? Да как объяснить?

Как-то очень уж просто всё получалось. Без всякой таинственности. Без малейших признаков нужного, ну пускай хотя бы желательного, не глобального, нет, попроще, поскромнее, много не требуется, но зато с ним появится нечто интригующее, театральное, из миракля, из действия, зрелищного и чудовищного, возможно, посolidнее лучше, да ладно уж, не в солидности, в общем-то, дело, пусть неброского, без особой выразительности, да пусть, наконец, какого-нибудь, потому что, по всем статьям, нужен он, вот и всё, хоть тресни, захудалого драматизма. И тем более — без трагедий.

Мы ехали в Переделкино, на могилу поэта. Ехали к Пастернаку. Так было принято в те годы — навещать поэта.

Ночь была, куда ни взгляни, беспросветная ночь, да и только, ночь повсюду и ночь везде, ночь сплошная, — так мне казалось. Но, конечно же, это была никакая не ночь, а просто — слишком тёмный, довольно поздний, подмосковный октябрьский вечер.

Мы с Губановым говорили — и молчали. И в перепадах то внезапного и сумбурного, по нити, говорения, то нежданного и глубокого, по чутью, возможно, молчания — возникало и возрастало необычно сильное, тягостное напряжение, и за ним — состояние несколько взвинченное, будоражащее и душу, и сознание, — то состояние, что предшествует не событию самому, но его приходу ожидаемому вот-вот, состояние — предстояния: перед тем, что сбываться должно, — и его до сих пор я помню. Состояние: перед гранью. Новой гранью. В который раз. Не преддверие. Проницанье: в глубь эпохи — духовных глаз.

В Переделкине грохот проезжающих мимо

станции электричек и поездов дальнего следования разом пропал, будто его просто-напросто взяли и вычеркнули.

Бескрайняя темнота и бездонная тишина, как молчаливые сёстры, возникшие, словно в сказке или во сне, мгновенно, перед глазами нашими, проводницами странными шли рядом с нами вначале, чуть позже — впереди на какой-нибудь шаг, а потом потеряли вдруг очертанья фигур человеческих, растворились в осеннем воздухе, где-то близко, и стали понятиями — темнотою и тишиной.

Было не просто тихо, в прямом значении этого слова, точнее — состояния этого, в мире, в природе, но ещё и глухо, тревожно.

Голоса наши стали гулкими, а потом, по мере удаления от станции, обрели непривычную звучность.

Сосны толпой безмолвной обступили нас, и стволы их высились, разрастаясь, отдаляясь, множась, дробясь, приближаясь почти вплотную и отшатываясь, качаясь, то здороваясь, то прощаясь, точно боль сквозь них прорвалась.

Мы добрались до кладбища.

Было темно. И даже не просто темно, а как-то очень уж мрачно черно, глухоманно, тревожно, пустынно.

Горели в округе — сквозь темень и сквозь глухомань — леса. Пылали — жёлтой, оранжевой, ржавой, багряной листвой, факелами, лампадами, кострами, сплошными пожарами, леса, перелески, рощи, — наверное, всё Подмосковье, да и то, что скрывалось за ним, простиралось за ним, уходило всё дальше, туда, в темноту, на четыре стороны света, вовлекая в горение это всю природу, а с ней и людей.

Неподалёку вечной свечой теплилась и мерцала древняя, патриаршая, диво дивное, церковь.

Только и вспоминалось:

— И тихо, так, Господи, тихо, что слышно, как время идёт.

На могиле поэта мы были одни.

Вообще, казалось, одни, на земле, в целом мире — одни.

Мы оба, взволнованно, сбивчиво, говорили и говорили.

О чём? О том, что, наверное, начинается что-то новое, небывалое в жизни нашей.

Чего нам ждать обоим — от него, от этого нового?

Каким оно явится нам, наше будущее, уже скоро, прямо завтра, с утра, пораньше, чтобы стать настоящим нашим?

А потом оба мы задумались — и довольно долго молчали.

Мы решили выпить. И — выпили.

Помянули вдвоём поэта.

Выпили мы — за нас, таких, каковы мы есть, с дарованиями своими и, даст Бог, достойными судьбами, за свершение замыслов наших, за поэзию, за призвание, за грядущее — наше, общее, но и в то же время для каждого сокровенное, очень личное, потому что нельзя иначе, — только личное в речи русской и становится общим в грядущем для людей, которым поэзия в жизни их как воздух нужна.

Мы пили не только вдвоём — пили и с Пастернаком, — смеялись, плакали оба — и звали, звали его.

Он пришёл. Он, конечно, пришёл.

Мы курили — вместе, втроём.

Говорили — вместе, втроём.

Как не вспомнить было тогда? —

— ...пока я с Байроном курил,

пока я пил с Эдгаром По...

Так всегда бывает с людьми, которые не умеют, а вернее всего — не хотят, вопреки наветам и злу, в этой жизни, на этой земле, в мире, в яви, и в мире внутреннем, в мире собственном, созданном ими, в чудотворстве своём и творчестве, в просветлении, в таинстве, в празднестве, в детстве, в сказочном волшебстве, с мировой душой в родстве, да и в зрелости, даже в старости, став друзьями добра и радости, почему-то вдруг умирать.

Мы вдвоём тогда — поклялись.

Что за клятва это была,

всё — в душе, и конечно же —

тайной это было долгие годы.

Но теперь — уже можно сказать.

Мы поклялись в дружбе и верности, поклялись оставаться самими собою в любых обстоятельствах жизненных, какими бы там они в дальнейшем ни оказались, поклялись мы сбегать и продлить дыхание речи русской.

И тогда удивительно чистый, ясный, неизъяснимый звук всем естеством своим, каждой клеточкой тела, хребтом, осязанием, зрением, слухом различил я в осенней, вечерней, полной чар и даров, тишине.

Обращённый к душе моей, звук этот был началом той музыки мироздания, в которой, издревле и навсегда, всё сущее взаимосвязано, в которой нет пауз ненужных и бесполезных пустот, а есть только это вот вечное, жизнотворное, благотворное звучание, обещание новых дней, только свет и любовь.

Я поднял к небу глаза.

Надо мной, над моей головой — сияла вверху небывалая, таинственная звезда.

И связь свою с этой звездой — осознал я тут же, мгновенно, всей душой и уже навсегда.

Высока, свободна, прекрасна, глубь и даль привычно раздвинув, темноту от себя отодвинув, в откровенье своём пристрастна, как над баховским звучным клавиром, над судьбою моей, над миром, над Словом, над гранью Числа, горела она, светла.

Пролетел слишком низко, так низко, что, казалось, навис он прямо над нашими головами, большой, вначале как будто надвигающийся на нас, а потом тяжело начинающий заваливаться всей массой, наискось и по кривой, за кромку дальнего леса, постепенно и неудержимо исчезающий там, за ней, со всем своим гулом, рокотом, со всеми своими сигнальными, разноцветными, бортовыми, пульсирующими огнями, невидимый, но, тем не менее, всеми нервами, не иначе, ощутимый вверху самолёт.

В небе ярко горела звезда. Над юдолью земной. Надо мною. И знал я, под нею стоя — осенней давней порою, — что это за звезда.

...Что же с нами творилось тогда?

Мы то сидели, вроде бы и вместе, но как-то отсторонь, отрешённо друг от друга, то вдруг броса-

лись, охваченные странными, смутными предчувствиями ещё неведомой нам, пугающей, притягивающей, долженствующей сбыться завтра, предрешённой новизны, зачем-то — на землю, или вдруг откидывались, я — в своём закутке, Губанов — метрах в двух от меня, съёжившийся, в комочек сжавшийся, — навзничь, и лежали, глядя в тёмное небо, на сырой, холодной земле, среди листьев и венков, рядом с пастернаковской могилой.

Тишь и глушь смыкались вокруг.

Тьма смолою влажной густела.

Ветви сосен вздрогнули вдруг.

А звезда — всё горела, горела.

И оба мы, словно опомнившись, разом встали с земли.

Постояли вместе, в молчании, — под звездой в высоте. И ушли.

Вокруг — были только леса, были просто леса — так мне чудилось, так мне виделось, так это было, — и кричали, кричали поодаль, уносясь в темноту, в неизвестность, сквозь пыланье листьев, электрички.

И ещё была — тишь. Тишина.

Тишь и глушь — без конца и без дна.

И в стороне от кладбища, близко, в реальной жизни, в яви, в единстве с правью, — не просто виднелась, но как-то пронзительно ощущалась церковь Преображения Господня.

Шестнадцатый век. Тоже — горение.

Больше: сияние.

Духа присутствие. Дом его. Храм.

Что-то звало нас — живущее там.

И мы — разом, одновременно, —

ринулись туда.

Мы молились, чтобы всё было хорошо.

Как умели, так и молились.

И мольбы наши — были услышаны.

Так мне думалось. Так мне верилось.

Так мне виделось. В глубь и в высь.

В даль и в боль. Вперёд и насквозь.

Всё — явилось. И всё — сбылось.

Я не был пьян. Какое там! Да и с чего? Вино вином, но дело было совершенно в ином.

Переживал я какой-то особый подъём.

Ощущение было, что вновь я перешагнул некую важнейшую для меня грань.

Я молчал — и было такое чувство, как перед словами чьими-то, свыше, наверное, раздавшимися, для меня, для души моей, для судьбы: — Да говори же! Время пришло твоё. Говори!..

В молчании мы возвратились в столицу.

Молчаливо — кивнули друг другу.

Молчаливо — расстались.

*Молчаливо — в разные стороны
— разбежались по домам.*

...Ранним утром — толпы возле газет за витринными стёклами, сдвоенное фото новых правителей, крик, смех, — газеты распроданы, рвут из рук, метро бурлит, — газеты, «Правда», вытащенная из автоматов и расхватанная, машины с газетами — я сорвался с постели, и выбежал на улицу, и бежал, не веря ещё, утром, пораньше, чтобы успеть, пока не увидел всё.

Потом — стало всё спокойно. Спокойнее не бывает.

Всем вроде бы наплевать. И на новости, и вообще — на всё, на что только можно, спокойным будучи, вроде бы сразу взять да и плюнуть.

Ничего как будто и не было. Хоть и слишком уж многое — было. И, видимо, вскоре — будет. Много. Впереди.

Все живут себе и живут. Повсеместно. Здесь и повсюду. Как ни в чём не бывало. Вроде бы. А на самом-то деле — ждут. Но чего? Да кто его знает!..

Ранним утром, вместе с газетными новостями, с людским возбуждением, со всеобщей взволнованностью, взвинченностью, с пересудами, гаданиями о том да о сём, с надвигающимся в упор, серым, тусклым, неясным, точно перепачканным типографской чёрно-серой краской, с бегающими глазами, озадачивающим неопределенностью днём — действительно началась новая эпоха.

II

Осенью шестьдесят пятого я закончил книгу «Лето 65» и впервые читал её Губанову.

Происходило это в знаменитой и спасительной тогда для меня, сызнова предоставленной мне для временного жилья знакомыми ещё по Кривому Рогу добрыми людьми, Герасимовыми, комнате на Автозаводской.

Здесь прошлой осенью, по существу, и зарождался СМОГ.

Здесь вели мы с Губановым долгие свои беседы с глазу на глаз — о поэзии и обо всём прочем.

Здесь перебивало немало московского творческого народу — и до сих пор кто-нибудь из них да вспомнит это моё пристанище — окно во всю стену, стол, несколько стульев, два старых топчана, платяной шкаф, складная ширма — вот и вся нехитрая обстановка.

Но что-то в этой комнате было магическое, притягательное, — то, что стягивало сюда людей.

Трудно это выразить.

Наверное, было это, скорее всего, ощущение относительного покоя, отъединённости от городской суеты, — вроде и совсем недалеко от метро, но — осторонь, в глубине пустых и тихих дворов, — и ещё, конечно, манила сюда знакомых возможность чувствовать себя здесь совершенно свободно, то есть почти воля, моя независимость от их, московского, семейного, квартирного уклада с неминуемыми для молодости сложностями и всяческими, осаживающими излишнее время, родительскими и соседскими, приёмами и мерами воздействия на творчески настроенную молодёжь.

Здесь присутствовал дух — вот что было важнее всего.

И знакомые это чувствовали. Их тянуло сюда отовсюду, хотя я и делал периодически попытки уединиться.

Срабатывала, разумеется, и привычка. Всем хотелось общаться.

О, это общение тогдашнее наше! В кипении, в бурлении, в завихрениях его высветлялось, выкристаллизовывалось нечто серьёзное, неповторимое, то, живое, органичное, стойкое — и в жизни, и в писаниях наших, — многое из чего представляется мне ныне поистине драгоценным.

Но уже тогда осознавал я и преимущества, и явную пользу сознательного уединения — что вскоре и стало у меня образом жизни.

А комнату на Автозаводской вовек не забыть мне. Многое именно здесь началось.

Итак, я пригласил Губанова послушать новые мои стихи.

Он явился в назначенное время, минута в минуту.

Был напряжён, даже насторожён. Видно было — ждал чего-то нового для себя и наверняка — серьёзного, а потому и напрягался, и ревновал отчасти, заранее, хотя норовил марку держать, виду особо не подавать, что нервничает, — да куда там! — всё это было написано на его лице.

Я достал переписанную от руки книгу, причём сразу заметил, что Лёня так и впился глазами в эту довольно-таки большую стопу обычной бумаги для пишущих машинок, простой бумаги, на которой привык записывать свои тексты.

Уже настроившись на чтение, принялся я читать стихи, одно за другим.

Лёня, настроившийся слушать, был, как говорится, весь внимание.

Я читал стихи, увлёкся.

Но иногда искоса поглядывал на Лёню — как он слушает.

По мере чтения матовый цвет его лица сменился необычной бледностью, глаза разгорелись — их жемчужно-серый, чуть голубоватый цвет как-то поблёк, вытесненный расплещеными, расширенными, донельзя увеличившимися зрачками, ноздри его раздувались, как после долгого бега.

Минут через сорок он, почти задыхаясь, хрипло вымолвил — нет, скорее взмолился:

— Володя! Постой!

Я прервал чтение. Спросил его:

— Что с тобой? Случилось что-нибудь?

Лёня, тяжело дыша, не сказал, а выдохнул:

— Старик! Подожди. Дай передохнуть.

Он совершенно по-детски, одновременно наивно, растерянно и доверчиво посмотрел на меня и признался:

— Столько музыки — уши болят!..

Музыки души и времени в стихах действительно было вдосталь.

Я отложил рукопись в сторону. Не всю ведь книгу читать! Ещё успеется, начинаюсь.

Как умел, постарался успокоить разволнованного Губанова. И это мне вроде удалось. Он уж за сердце хватался.

Пришлось извлечь из сумки бутылку российского полусладкого, которую мы вдвоём и уговорили на удивление быстро. Причём Лёня вначале залпом выпил полный стакан и жадно закурил, облегчённо откинувшись на скрипучую и шаткую спинку стула, и только потом уже пил вино не спеша, небольшими глотками.

Постепенно Губанов пришёл в относительно ровное состояние.

Однако несомненная ошарашенность услышанным — иначе и не выразишься — сказывалась в его поведении.

Мол, ждал, конечно, чего-то хорошего, — но чтобы такое услышать, да на таком уровне, да в таком количестве, — тут и в самом деле занервничаете.

Он механически сцеплял и расцеплял свои длинные, гибкие, гипсово-белые пальцы. Спохватывался, пытался даже засунуть руки в карманы брюк. Но ладони его опять взлетали в воздух, сплетались, стискивались, и в движениях их было что-то от мечущейся птицы.

Он с размаху вдавливал недокуренные сигареты в пепельницу, и под напором его нервной энергии пепельница подпрыгивала на столе, а сам стол, довольно устойчивый, глухо скрипел.

Он не знал, куда девать не только руки, но и глаза, — и взгляды его то устремлялись куда-то за окно, во двор со старыми, стоявшими рядом с домом высокими деревьями с кое-где удержавшейся на покачивающихся ветвях отчаянно жёлтой, иногда тронутой багрянцем, уже прихваченной ночным морозцем, напоминающей трепещущие флажки, упрямой, но обречённой на осыпание листвой, то обращались на меня — и я читал в них невысказанные слова потрясения, и понимал, что тяжело ему такое переживать, и говорил о чём-то совсем простом, не имеющем отношения к творчеству, словно успокаивая его, чуть ли не ублаживая, — и он несколько успокоился наконец, стал дышать глубже, ровнее, и чёрные уголья зрачков сжались, глаза потеплели, — Губанов приходил в себя.

Была у меня, помимо рукописи, и самая пер-

вая машинописная перепечатка новой книги, в двух экземплярах.

Один из этих самиздатовских машинописных экземпляров, на больших листах, второй, но очень хороший, чёткий, дал я Губанову с собой, на прочтение.

— Почитай книгу с листа! — предложил я ему.

Он сразу согласился, что это вот — дело.

Мигом завернул мою книгу в газету, соорудив этаким плотный свёрток. Сунул свёрток за пазуху. И заторопился с уходом — надо, мол, уже отчаливать, пора, — книгу он дома внимательно почитает.

Ну, надо так надо.

Я проводил его до двери. Мы попрощались. Закрывая дверь коммуналки, я услышал, как быстро топочут вниз по лестнице губановские башмаки.

Нетрудно было представить, как Лёня выбегает из подъезда, пересекает двор, ныряет в арку, заворачивает за угол, оказывается на улице и движется вдоль чугунной решётки сквера, вдоль полуоблетевших деревьев за этой решёткой к метро, — небольшой, но крепенький, целенаправленный, слегка сутулящийся, в своём сером пальто, со свёртком, в котором — книга моя, за пазухой, потом, нарушая правила, перебегает улицу на красный свет светофора, по дороге успевает закурить, оказывается у входа в метро, швыряет окурок наземь, толкает плечом тяжёлую входную дверь — и с разбегу врывается вовнутрь, в подземелье метрополитена, в неторопливое движение эскалаторов, уносящих пассажиров, стоящих на их ступеньках то поврозь, то случайно сбитыми стайками, на длинные плоскости перронов, с их гулом, ропотом и шарканьем бесчисленных подошв, и вот уже подходит поезд, и Губанов, так же, как и всегда, с налёту, с повороту, врывается в вагон, состав срывается с места, с грохотом набирает скорость, — и в чёрном оконном стекле отражается бледное Лёнино лицо...

Через несколько дней я зашёл к Алёне Басиловой, Лёниной жене.

Первое, что увидел — свою перепечатанную на больших листах бумаги книгу, лежащую посреди низкого столика, за которым обычно мы пили кофе и курили, и все предметы — чашки, пепельницы, спичечные коробки, блюдца,

рюмки — были отодвинуты далеко в стороны, моя книга была — в центре внимания.

Губанов, задумчивый, необычайно серьёзный, малоразговорчивый, то подходил к окну, за которым грохотал на Садово-Каретной движущийся непрерывными потоками днём и ночью транспорт, и закуривал, то присаживался в углу, глядя сквозь стены куда-то вдаль.

Алёна налила мне в старую фарфоровую чашечку крепкого, сваренного по-турецки кофе, — а варила она его замечательно вкусно.

— Всё думает, думает, — шепнула мне она, кивнув на Лёню, — записывает что-то, в рукописи твоей помечает.

Я покосился на перепечатанную свою новую книгу, к которой сам ещё привыкал, полистал немного страницы.

В самом деле, везде на полях возле текстов стояли загадочные Лёнины значки, пометки, а возле некоторых стихотворений отчётливым его почерком — каллиграфически, с нажимом, только перьевой ручкой, только чёрными чернилами, как всегда любил он писать, — выведено было: «Гениально!»

Для Губанова это было вроде как — «одобряю!» или «разрешаю!».

Перешагнуть барьер соревновательной, жгущей, прямо-таки детской ревности было ему трудновато.

А потом он и сам снова начал писать, — и появилась поэма «Козырь», и циклы новых стихов, — и он ожил, воспрянул.

Импульс творческий пришёл к нему — из моих стихов.

Свойство у них есть такое — побуждать людей к творчеству.

Жизнетворность. Свет созидания.

III

В сентябре восемьдесят третьего года я, в который уж раз, вновь жил и работал на Украине, в Кривом Роге. Если и было у меня тогда, среди бесчисленных невзгод лихолетья, слишком обтекаемо именуемого нынче безвременьем, спасительное пристанище — так это родительский дом.

Пришло письмо из Москвы, от жены. Цепенея, с подкатившимся к горлу сердцем, перечитывал я дрожащие строки: «Умер твой друг Лёня Губанов...»

За окнами толпились деревья окрестных садов. По комнатам, вздох за вздохом, шелестел отдающий полынной горечью, искони пронизывающей естество древнего и вольнолюбивого моего края, степной ветер.

В этом доме бывал Губанов. Здесь его любили и помнили, привечали и понимали. Здесь звучали его молодые стихи.

И вот теперь человека не было. Что-то родное, привычное, огромное, важное — такое, чего и не выразить сразу, такое, с чем связано слишком уж многое в жизни, в судьбе, связаны годы, молодые и более зрелые, связаны встречи, события, равных которым нет, нитью незримо связаны души, и биографии, творчество, и вдохновение, и становление духа, — всё, чем я жил, чем я жив, личное, вечное, точное, — связано свыше, наверное, — вдруг, почему-то, бессмысленно, слишком жестоко, намеренно, — знать бы мне, а не догадываться: так по чьему же умыслу? — безвозвратно ушло.

Остались в мире — и сызнова, как и когда-то, в молодости, сразу пришли, и вспыхнули, и зародились в сознании, и зазвучали по-новому, гордо, трагично, празднично, волшебю, торжественно, яростно, обречённо, светло и властно, — только они, только они, губановские стихи.

Огромное, ещё не изданное собрание. Двадцать лет неустанного горения, взлётов, срывов, упрямства, тоски, возрастающей гордости, за которой всегда неизменно вставала верность своим идеалам, отчаяния, за которым неминуемо следовало вдохновение, горенье, прозрение, воспарение к небесам, двадцать лет прорывов куда-то в неведомое, тех открытий, в которых — суть, тех наитий, в которых — путь, двадцать лет — на звук и на свет, пусть и вовсе не прямо, кругами, но зато уж — слово зовёт — с твёрдой почвой всегда под ногами — сквозь стихии — вперёд и вперёд, потому что знал он, куда в гуще мрака ведёт звезда, двадцать лет отстаивания собственных, личных, таких уж, какие были, но — его и только его, а не чьих-нибудь там, оправданных всей судьбою творческих принципов, личной,

собственной, кровной, своей, не похожей на другие, жизненной позиции.

— Под восторженной землёй пусть горит моё окошко...

С Губановым мы подружились — мгновенно и накрепко, так, что не верится даже сейчас, что такое бывало когда-то, а ведь было, действительно было, потому что было, наверное, кем-то свыше так решено, и не быть не могло поэтому, и сбылось, и осталось редкостным, небывалым, пускай и временным, столкновением-оттолкновением, неким сложным объединением линий двух параллельных, может быть, судеб двух, биографий двух, душ, всегда окрылённых, двух, — в самом начале неповторимой осени шестьдесят четвёртого. Среди молодых московских поэтов не было тогда, пожалуй, человека известнее, самобытнее, ярче. Не было, должен сказать, дотолле, откуда на столичном горизонте не появились и прочие звёзды минувших лет. Но я говорю — о заре. А Губанов на этой заре — был звездой, и этим всё сказано. В предрассветном небе — сиял. Я приехал в Москву из провинции — и об этом сказали мне сразу же завсегда и всяких, в ту пору популярных, бесчисленных, шумных поэтических сборищ. Слава его — особенная, подчёркнуто неофициальная, но зато уж прочная, — зародилась уже в те дни. Он много и с превеликой охотой, трезво понимая, что это способствует его популярности, мгновенно возникшей и стремительно распространившейся моде на него, читал свои стихи — везде, где только предоставлялась такая возможность, и совершенно всем, без особого разбора, кто выражал хоть малейшее желание слушать его, из любопытства ли, по причине ли действительно серьёзной любви к поэзии, или же следуя правилам, общим для многих в столице, хорошего тона, всем, кто настроен был слушать его. Авторское чтение его воспроизвести невозможно, это был поразительный сплав какого-то дремучего, древнего, вовсе не ведической, не просветлённой, а именно языческой, первобытной, смутной, туманной, лесной, бесконечно глухой стариной отдающего плача и совершенно детского, беспомощного, наивного, доверчивого, смущённого лепетания, возрастающего, от низов до верхов, на высоких тонах обречённо дрожащего, боязливого, но и бесстрашного крика и едва раз-

личимого, тихого, робкого шёпота, вдруг выплёскивающейся откуда-то изнутри, из души, из биения сердца, из сплетенья набрякших, пульсирующих, кровью творческой хлещущих жил, возникающей столь неожиданно, по чутью, по наитию, исподволь, и свободно, привольно, уверенно разливающейся вокруг, очень русской и очень чистой, с колокольцами, с перезвонами, с перебором струнным, с раскатами, в никуда и куда-то, в невидаль, развивающейся, разрастающейся, разлетающейся, вдоль осени и на все на четыре стороны, в транс, в ритме, в порыве, мелодии и немедленно завораживающего всех и вся, с монотонным таяньем, с недосказанностью и с тайною, с неким смыслом, открытым походя, позабытым тут же и сразу же воскрешаемым, чтобы помнился, чтобы длился, речитатива. Впечатление бывало оглушительным. Сравнивать было не с чем. Слушатели буквально обалдевали. И круг приверженцев губановских в очередной раз расширился.

В годы нашей молодости наши стихи на удивление хорошо воспринимались людьми с голоса. Почему было именно так? Что за звук им хотелось услышать? Что за свет им хотелось — за звуком — в беспредельной ночи различить? Видно, время такое было. И такую была — поэзия. Не случайно она звучала — и спасала, и жить помогала. Не случайно она вставала — над страшною, сквозь мрак и хмарь. И вставало за ней — вниманье. А за ним — порой — пониманье. Вот что было — всегда за гранью. На Руси — было слово встарь.

Орфичность поэзии Губанова, её естественное, не скованное никакими рамками существование в стихии речи, — открывали счастливую возможность пластичной, многосмысленной, фонетически насыщенной структуре его стихов, их сочной, буйной плоти — и одновременно их одухотворённости, окрылённости, — восприниматься и усваиваться окружающими свободно, без натуги; эти весьма сложные тексты, которые читаешь с листа с достаточным напряжением, становились как бы органической частью природы, мира, ибо, сами полные движения, поневоле участвовали в движении жизни.

Несколько позже начали своё триумфальное шествие по всей стране и списки губановских стихотворений и поэм. Число этих самиздатов-

ских машинописных сборников, понятное дело, не поддаётся никакому учёту. Многовековая российская традиция оказалась на редкость живучей. Отечественные, весьма образованные и очень разборчивые, читатели давно приняли пришедшегося им по сердцу поэта. Да, впрочем, и не только они. За рубежом и Губановым, и созданным им вместе со мной содружеством СМОГ, а соответственно — и творчеством каждого из нас, вот уже более тридцати лет всерьёз интересуются и издатели, и исследователи. Стихи Губанова — живут, у них своя, никому уже не подвластная жизнь. И надо лишь радоваться, если где-нибудь они оказываются зафиксированными на бумаге добротным, печатным, гуттенберговским способом. Всем ясно, что русская культура — едина. Потребность в настоящей поэзии ощутима не только в России. На русском языке читают в разных странах. И, кстати говоря, почитают достойных авторов.

Безвременье вызвало расцвет самиздата. Достаточно было напечатать рукопись на машинке в трёх экземплярах и отдать её знакомым, чтобы в кратчайшие сроки число машинописных копий возросло в геометрической прогрессии. Все пишущие люди нашего круга к этому привыкли. Такой способ распространения текстов представлялся и закономерным, и разумным. Надежд на издание не было вовсе. Поэты же и прозаики много работали, духовно росли, как и их читатели; сам процесс такого взаимодействия, такого общения — был плодотворным, необходимым. Только сейчас, поначалу едва забрезжив, что-то вроде бы ещё смутно, а всё-таки высветилось с нормальными, не искорёженными редакторами и цензурой советских времён изданиями на родине. Изданы пока что лишь частицы из написанного в пределах бывшего отечества за несколько десятков лет, из серьёзной литературы. Пресловутая подводная часть айсберга ещё не видна.

...Сентябрьским, полным шелеста листвы, утром шестьдесят четвёртого в комнатке на Автозаводской, где я временно обитал, Губанов впервые прочитал посвящённое мне своё провидческое стихотворение:

— Здравствуй, осень, — нотный грот, жёлтый дом моей печали! Умер я — иди свечами. Здравствуй, осень, новый гроб. Если гвозди есть у баб,

пусть забьют, авось осияют. Перестать ронять губам то, что в вербах износили. Этот вечер мне не брат, если даже в дом не принял. Этот вечер мне не брать за узду седого ливня. Переставшие пленять перестраивают горе... Дайте синего коня на оранжевое поле! Дайте небо головы в изразцовые коленца. Дайте капельку повить молодой осине сердца! Умер я. Сентябрь мой, ты возьми меня в обложку. Под восторженной землёй пусть горит моё окошко.

Уже тогда, восемнадцати лет от роду, он точно предсказал месяц своей смерти — я бы выразился резче: гибели. С абсолютной уверенностью говорил он, что проживёт тридцать семь лет. Так всё и вышло.

Когда сейчас читаешь его более поздние по времени стихи и видишь, как эта убеждённость, это осознание рока, всё крепнут, обрастают подробностями, когда ощущаешь, что к смерти он был постоянно готов, что с трезвейшим пониманием неминуемого уложился в жёсткие рамки творческого двадцатилетия, что выложился весь, без остатка, что отдал поэзии все силы, всю душу, всю кровь, самую жизнь, — становится не по себе.

Это не мистика, а дарованное поэту свыше умение видеть наперёд, — лишнее доказательство правоты и весомости поэтического слова, провидческого, пророческого дара.

Вне всяких сомнений, у Губанова был не просто выдающийся талант. Абсолютно убеждён, что с моим мнением согласится множество достойных людей в самых разных уголках земного шара, на пространствах которого, а не только в границах России, живут и долго будут жить губановские стихи. Таких поэтов, как он, — такого ранга, дыхания, лирического напряжения, эпического размаха, — единицы.

Двадцатого октября всё того же шестьдесят четвёртого года услышал я от Губанова ещё одно посвящённое мне стихотворение, весьма важное в его творчестве, — «В этом мире»:

— В этом мире пахнет крышами, мертвецами, гарью с тополя. И стоят деревья — бывшие, и царят — лицом истоптанным. В этом мире камень горбится, распрямляются в гробу. В этом мире мне приходится пять шагов несчастных губ! В этом мире, гробом, временном, всё сгорит, как в Божьих срубках. Покрестясь на лик приклеен-

ный, нас, как вербу, к небу срубят. В этом мире кто-то кается — и в сентябрь глаза роняя, злым настройщиком купается в недорезанном рояле. Что он хочет — лебедь красная, белый колокол истомы? Или маску? Или Пасху? Воскресение Христово! Я хожу к промокшим девам с грудью траурной резьбы, я кричу им — мажьте телом чёрный хлеб моей избы! В этом мире жрать мне нечего, кроме собственных затей, в этом мире участь певчего — только в сумерках локтей. Всё светлее... всё щекотнее из разбитых ртов коряют. Где вы, баба прошлогоня, муза русая моя? В этом мире вам не латано платье — вечер, платье — путь... Ваши пальцы пахнут ладаном, — как одеть вас, как обуть?!

Посвящал он мне и другие стихи. Как и я ему — посвящал. Всего не процитируешь.

Первое из приведённых мною стихотворений публиковалось не единожды, с искажениями текста и почти без таковых. Здесь у меня — верный текст. Второе стихотворение, в числе других вещей большой губановской подборки, я опубликовал в третьем номере киевского журнала «Византийский Ангел» в девяносто седьмом году. Издание это, к сожалению, практически недоступно широкому читателю. А в нём — немало текстов под общим названием «Круг СМОГа».

Поскольку речь у меня часто заходит о сентябре, приобретающем в губановской поэзии такой пронзительный смысл, приведу ещё одно Лёнино стихотворение, тоже — шестьдесят четвёртого года, и тоже опубликованное мною в том же «Византийском Ангеле». Называется оно — «Я — скит»:

— Когда сентябрь в узлах тоски дымит лицом прококаиненным, я вам волшебен, словно скит над неожиданным малинником. О лес, лес, лес, замшелый мальчик, зачем ты лешь, как листья, нянчил, зачем не нёс ко мне тропинки, а ночью, когда снег пушил, восторженным сыном Тропинина глазел на живопись души? О, ропот первого «люблю»! О, робот первого «люблю»! Я скит, который во хмелю, я девок лапаю и бью. О, как скрипит моя монашка: ты нечестивец, замарашка! Я — инок, я — иконостас, но мне до лампочки лампы. Целуй меня, целуй и падай в святую прорубь серых глаз. Я знаю, ты ещё не убрана, но всё равно, сметая хаос, твоё лицо, как белый парус над головой

моей поруганной. Знобит великой старой тайной — эпоха дёргает кольцо, чтоб приземлиться на крыльцо ещё непризнанной Цветаевой. Я руки белые клянусь, когда они, теряя речь, горят в малиновом плену твоих недоумённых плеч. Когда они, от глаз мошеничая, смыкаются с другими вместе, моё лицо бредёт отшельничать, вынашивая план возмездия. О, чем измерить мне измену, когда, срываясь в мысли лисьи, я золотой души размениваю на мелочь почерневших листьев? Я знаю, скоро линька душ. А в ночь мне разбивают голову. Играйте туш... играйте туш за упокой такого колокола.

Пожалуй, не обойтись без ещё двух стихотворений. Оба они написаны в мае шестьдесят четвёртого.

Первое называется — «Ночь»:

— У меня волосы — бас. До прихода святых вёрст. И за пазухой вербных глаз — серебро, серебро слёз. По ночам, по ночам — Бах над котомками и кроватями, золотым табуном — пах, Богоматерью, Богоматерью. Бога, мама, привёл опять наш скелетик-невропатолог. Из ненайденного портного вышел Бог — журавли спят. Спрячу голову в два крыла, лебединою песнь докашляю. Ты, поэзия, довела, донесла на руках до Кашенко!

Второе называется — «Болезнь»:

— Живу в потрёпанной Калуге, меняю лето к алтарю. Меня цитируют хоругви, когда с монашенкою сплю. За красной изгородью рук болею я совсем по-чёрному. Меня укутывает слух и пеленает смех парчовый. Я в желтых сенах от простуд развёл костёр, и твой ушиб, подглядывая, как пастух, за табуном ночной души. Смеркается, все тучи в сборе. О, я сегодня тот, кто трусит с огромной свечки тихой боли снимать нагар горячей грусти. И с робостью ученика я — тот, который чаёт Веком растерянность черновика над захоластьем человека. Я снова с вербой в первом классе, раскрашен репкой мой пенал, он первый, кто на лень пенял. О, мне поклоны парте класть бы! Урок не сорван — так сорвут, сорвут, что кровь в больших ушах. О, как тебя теперь зовут, моя сбежавшая душа? Садись ко мне на подоконник, не бойся, я тебя не трону. Я сам твой первый второгодник, чьи дневники никак не тонут. Я жгу себя, как жгут версту с малинником и бабьим лепетом, к ногам сдирая бересту смер-

тельно раненного лебедя. Привет тебе, кончина чувств! О, мне дышать уже немного. Я смерти, милая, учусь. Всё остальное есть у Бога!

Ну что тут скажешь? И это — лишь начальная губановская пора.

Почему-то становится модным, а на мой взгляд — инерционным, мнение о том, что стихи Губанова, дескать, неровные. Ну и что? При таком количестве текстов — несколько полновесных томов — это неминуемо, создание шедевров требует передышки.

Хотелось бы спросить у доморощенных снобов: а что прикажете делать со стихами Галактиона Табидзе? Шевченко? Блока? У классиков, написавших много, не всё равноценно, как ни крути. Суть здесь совершенно в другом: в единстве, цельности всего губановского творчества.

Ибо поэт всю жизнь писал единую, очень большую, предельно искреннюю, исповедальную, не имеющую аналогов книгу. Ибо страсти вокруг наследия Губанова не утихают. Ибо, давным-давно придя к своему читателю и без наличия печатных изданий, он ещё будет, уверяю вас, грамотно издан на родине, и неизмеримо возрастет его известность, как и только увеличится его, Губанова, воздействие, влияние на современную поэзию.

Занятно, не правда ли? — тридцать с лишним лет все кому не лень, из числа тех, у кого собственных способностей не так уж много, в нашей благословенной и густонаселённой стране, у всех на глазах, растаскивают губановские сокровища — его приёмы, ходы, тропы, лад, широчайший образный диапазон, интонации, — и усердно втискивают эти крупницы стихии в собственные, шаткие и невыразительные версификационные построения, создаваемые отнюдь не на вдохновении, но расчётливо, вроде как на станке, иначе не скажешь!..

Губанов и СМОГ — понятия неразделимые. Морозным январским вечером шестьдесят пятого, в час важнейшей, исторической, как он выразился, встречи, одновременно и с налётом таинственности и с приливом открытости, Лёня мне первому рассказал о том, что для осуществления нашей общей с ним идеи — сплотить молодых поэтов, прозаиков, художников, создать творческое содружество, — он нашёл точное слово. Слово это было — СМОГ. Каза-

лось, это было как нельзя более ко времени. В Москве собрались тогда многообещающие силы. Нужны были — выход, действия. Все стремились проявиться в должном масштабе, утвердиться, окрепнуть. Ещё длился несколько затянувшийся раскат последней волны хрущёвской оттепели. Мы все, в достаточной мере идеалисты, а скорее — просто из-за избытка чаяний, замыслов, ещё не осознавали, что вот-вот всё остановится, замрёт, что уже занимается бредовая заря брежневского безвременья, по-русски говоря — бесчасья, которая принесёт с собой столько горя, трагедий. В кратчайший, отпущенный нам судьбою промежуток времени, перед тем как страну сотрясёт шоковая терапия вандализма, террора, нивелировки общечеловеческих ценностей, поругания человеческого достоинства, а потом захлестнёт мгла бессмыслицы и полулетаргии, за которой будет ощути́м близкий общий распад, — мы всё-таки успели сказать своё слово. Расплатились за него — искалеченными судьбами, а некоторые и жизнью. Но это — позже. А в ту пору, по нашим представлениям, перед нами открывалось великолепное будущее, причём всё зависело только от нас самих. И СМОГ начал своё существование. Чингисхан знал, что говорил: если ты хочешь, чтобы мысли твои запомнили, — не ленись их повторять. Посему — повторяю. Сознательно. Упрямо. Чтобы запомнили. Главное в СМОГе — плодотворное общение творческой молодёжи. Наши постоянные встречи, чтение стихов и прозы, споры, душевные беседы, открытия — были важны для всех. Приподнятость мыслей и чувств, жажда знаний — вот под какими знаками проходили эти бурные месяцы, покуда СМОГ дышал, действовал, покуда нас окончательно не задавили. Формирование характеров, утверждение авторитетов, умение совершать поступки — вот что происходило тогда. Число соратников, единомышленников — росло с каждым днём. Старшие представители тогдашней неофициальной культуры поддержали нас, и сразу же. Что уж говорить о ровесниках! Студенческая молодёжь, да и вообще молодёжь, ищущая, энергичная, передовая, — считала нас своими. Так получилось, что именно мы стали выразителями её мыслей и настроений. Мы часто, очень часто, даже порою слишком уж

часто, выступали с чтением своих стихов. Нас — ждали, нас — очень ждали. И мы — встречались с людьми. И — читали, читали, читали. Особенно мы с Губановым. Выкладывались всегда полностью. То есть работали на совесть — и вдохновенно, и с трезвым пониманием всей важности событий. Но жертвенный наш порыв был жестоко подавлен. Круг друзей — разомкнулся. Пришло время долгих бед...

Леонид Губанов родился в июле сорок шестого года. Коренастый, ладно сбитый, подвижный, он казался живым воплощением клокочущей в нём энергии. Когда Губанов волновался или читал стихи, с лица его спадала обычная несколько тяжеловатая статичность, как будто он срывал разом маску. Серо-голубые глаза его распахивались доверчиво и широко, как бы излучая таинственный, идущий откуда-то из глубин язычества, ранимый, ясный свет. Позже под набрякшими веками поселились печаль, обида, недоумение, затравленность, ещё позднее — скорбь, твёрдое спокойствие, готовность ко всему.

Обаяние Губанова было чрезвычайно велико. Он мог надерзить, набузить, напроказить, но настолько искренним бывало раскаяние, что и прошение следовало незамедлительно, и недоумение забывалось.

Он маялся один. Кругами колесил по Москве, по всем её кольцам — бульварным, Садовым, — он был окольцован столицей, закольцован, как певчая птица, вечно — в кольце историй, событий, драм или бед. Изредка, не всегда, тогда, когда удавалось, когда находились средства, а лучше — ещё и попутчик, а ещё, разумеется, лучше — когда сразу и то, и другое, — вырывался вдруг из столицы, из колец её, из кругов её, — в города другие, и — дальше, ближе к солнцу, к теплу, — на юг.

Наития, вдохновения — ждал всегда. Когда «накатывало» — исчезал, уединялся, — и появлялся у друзей со свежими вещами, читал их, чутко прислушиваясь к суждениям о новых своих стихах.

В пору СМОГа, которая для нас обоих началась гораздо раньше, нежели официально принято считать, и закончилась гораздо позже, опять-таки только для нас двоих, — он обычно читал всё новое прежде всего мне, как и я ему, — таков был уговор, правила игры, хорошее сорев-

нование, если хотите. Доверялся он мне совершенно, доверие было взаимным.

Я помню всё — и когда-нибудь напишу о важнейшем, но некоторых тем сознательно предпочту не касаться — это не для любопытствующих, а только для двух наших душ, и пусть это остаётся неразглашённым.

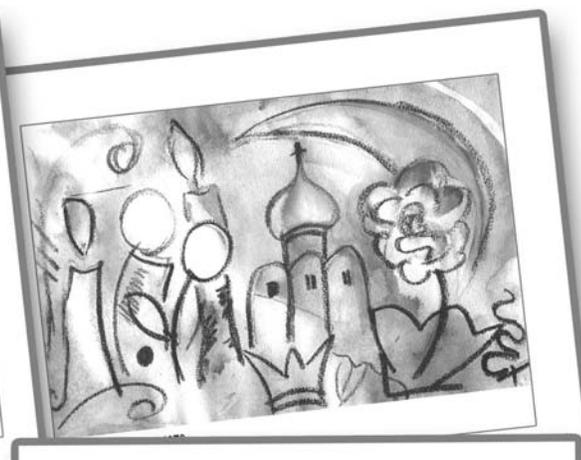
Он помнил наизусть множество моих стихов, цитировал их, ревновал к своим, но очень ценил. Внимателен был к стихам Кублановского и всегда верно говорил о них, кстати, предсказав дальнейший, столь обособившийся и сменивший ориентиры, путь его. Точно предсказал, что к середине семидесятых Саша Соколов станет писать хорошую прозу, — и это сбылось.

Губанова любили женщины — неистово, пылко, самоотверженно. Его романы возникали стремительно и вдруг прерывались, чтобы уступить место новым. Нежность же к Лёничке, как все его называли, в покинутых женских сердцах не угасала.

Губанова берегли, как умели, друзья. Будучи вовсе не ангелом по характеру, он вечно попада-

л в переплёты, с ним всё время что-нибудь да происходило — ужасное, или нелепое, или комичное, или такое, чему и определения-то сразу не подберёшь. Он был суверен. И не просто суверен, а гипертрофированно, сверх всякой меры, без всякого удержу, везде и всегда, в любую секунду, где бы ни находился, что бы ни делал, — то пугался, то радовался, то терялся в догадках: да что же это такое? — а то и, невероятно мнительный, окружённый целым роем своих, особенных, примет, загадываний, знаков, символов, как будто пчелиным роем, так и виделся — в центре этого вихря, роения, сам волчком закручивающийся в центре своих наваждений, предчувствий, своих, очень личных, условностей, за которыми видел, наверное, незаметную для других, очень странную, зазеркальную, несомненную для него, фантастическую, но и будничную, непрерывную, пёструю, донимающую и тревожащую, но всегда, тем не менее, — зримую, осязаемую ежесекундно, с ним давно уже, видно, сросшуюся, им давно уже, видно, принятую, без особых раздумий,

Картины Леонида Губанова



явь. Он был фаталист. Сознательно бросал себя в сложные ситуации, чтобы пройти ещё одно испытание на прочность. Загадывая нечто про себя, вдруг, сорвавшись с места, с тротуара, бросался наперерез мчавшимся по шоссе машинам; держась за прутья балкона, повисал на руках на высоте седьмого этажа, а то и выше; мог очертя голову ринуться в драку. Придя в себя, становился кроток, задумчив.

Разрушая все байки о якобы необразованности Губанова, свидетельствую, что был он как раз весьма образованным человеком. Он, пусть и не слишком усердно, не ежедневно, без всякой, конечно, прилежности, которой и в школе не особо-то отличался, но зато — увлечённо, порывами, как-то даже восторженно, весь уходя в свое чтение, осознаваемое им как некое действие, весь, целиком, отдаваясь книгочужеской, мальчишеской страсти, позабыв обо всём, обо всех, уединившись, запоем, очень внимательно, вдумчиво, целенаправленно, сосредоточенно, много читал. Великолепно знал русскую иконопись и фреску, западную и русскую живопись. Пусть не слишком уж глубоко, а скорее, согласно с каким-то своим настроением, а потом и с желанием вникнуть в существо увлекающей страсти, подумать, понять, а потом — изучая, пусть — то, что, наверное, совпадало с теми, творческими, частотами, на которых один он работал, со стихами его, со звуком их, — разбирался и в музыке.

Избранный им раз и навсегда независимый, вольнолюбивый образ жизни как нельзя более кстати подходил для необходимых занятий по самообразованию. И он дорожил свободой — для труда, для духовного совершенствования.

Издаваться на Западе, несмотря на всяческие, иногда и заманчивые, предложения, отказывался — верил, что издадут и на родине. Но издания зарубежные — разумеется, были — пусть и нерегулярные, хаотичные, клочковатые, без разбора, без всякой системы, по кускам, по частицам, по крохам, как обычно — неведомо где, и какими путями — кто знает, и всегда — некстати, с последствиями, о которых и вспоминать-то нынче слишком уж тяжело, и без всякой радости, праздничности, где-то там, совсем далеко, не увидишь, не прочитаешь, ничего не знаешь порой, где там что-нибудь появ-

вилось, — как в другом измерении, словно на планете чужой, в пространстве, в те-то годы, непредставимом, — были, были, — за двадцать-то лет, со времён смогистских ещё, на чужбине, — были издания — без его, разумеется, ведома, точно так же, как и у прочих, никогда не бросавших родину, выживавших как уж умели, на родной своей почве, спасающихся только творчеством, только горением, верных речи, верных призванию, сквозь невзгоды к свету стремившихся, поредевших его друзей.

Поразителен провидческий дар Губанова. Примеров его точнейшего угадывания грядущего — сотни и даже тысячи. Очевидцев, свидетелей — вдосталь.

Губанов — это я тоже нередко, совершенно сознательно, повторяю, — был прирождённым, именно прирождённым импровизатором. Таким, каков был импровизатор в пушкинских «Египетских ночах». Однажды в мастерской скульптора Геннадия Распопова, страстного, преданного Лёниного поклонника и старшего его друга, в один из вечеров, когда мы собирались там, в тепле, в покое, среди совершенно своих, по духу, по общей настроенности мыслей и чувств, чудесных, надо сказать, людей, незабвенных, светлых людей шестидесятых, той особой породы людской, которая и могла именно здесь, в нашей стране, и более нигде, появиться, потому что так было, видно, свыше, чтобы всем нам дышалось легче и свободней, вместе, в единстве, не напрасно предрешено, — кто-то из гостей читал свою прозу, довольно унылую. И вдруг, в противовес только что слышанному, в некоем транс, без единой запинки, стройно, живо, ну впрямь как по-писаному, заговорил Губанов. Это была чистейшая, пластичная, оригинальная русская проза, только не записанная на бумаге, а просто — звучащая. Все онемели. Много чего всем приходилось видеть и слышать, — но чтобы такое! — такое было впервые. Губанов, полузакрыв глаза свои, сидя в углу, в сторонке, бледный, отъединённый от мастерской, от людей, вообще от всего, весь в себе, в речи, в слове живущий, взвинченный, напряжённый, точно звенящий, как струна, какой-то светящийся, — говорил, говорил, говорил. Импровизация продолжалась

около двух часов. Магнитофонов тогда под рукой не было.

Как-то Губанов увлёкся сочинением сказок для детей, писал их прямо набело. Помню зелёную июньскую траву в саду снимаемой нами, двумя семейными парами, моей и губановской, незадорого, переделкинской дачи, траву, изумрудную, сочную, сплошь, густо, щедро усеянную сорванными ветерком с дощатого старого столика белыми, крупно исписанными листками с чудесными сказками. Где они, эти сказки, сплошь — волшебство, — теперь?

Импровизировал Лёня и мелодии, на собственные стихи. Личность поэта отразилась и в выразительных рисунках карандашом и тушью, и в симпатичных, отчасти сказочных, с элементами наива и ясновиденья, лёгких, чистых по цвету, акварелях, которые никогда не спутаешь с другими.

Самородок? Да пусть и так! Нас обоих, в былые годы, называли так, самородками, — видно, слова другого не было, а вот это — кстати пришлось. Дворовый мальчишка? Уличный заводила? Вечный какой-то подросток — в жизни своей и стихах? Пусть и так. Всё его — при нём. А то, что был он талант стихийный, глубоко национальный, русский дух в нём был, свет особый, — невозможно никак оспорить. Слишком рано, на грани отрочества и едва начинавшейся юности, в небывало короткие сроки, состоялся он как поэт. И ведь надо же! — сразу же, вовремя, — он сумел заявить о себе, заявить, да так, что столица — изумилась и тихо ахнула: ну и ну! — самородок! — гений! — это он, конечно же, он! — здравствуй, здравствуй! — иди же к нам — как давно мы тебя ожидали! — и теперь мы тебя дождались! — вот и ты наконец пришёл! — как мы счастливы, как мы рады!.. И он, взбудораженный, юный, — ринулся — весь — навстречу публике — обожателям, поклонникам, почитателям, всем, кто погоду делали, кто создавали мнение, — ринулся — в гущу самую, в бездну, в богему, в сутолоку, — к славе своей, к драме своей, к гибели ранней своей... Голос его огрубился, несколько поохрип в хаосе и бессмыслице всех, раскрывшихся картами кем-то умело разложенного, внешне — вроде бредового, а на поверку — трезвого, пёстрого и заманчивого, мистического пасьянса. Был — российским Рембо.

Стал — иным. Что же делать! Возраст. Годы. Невзгоды. Беды. Замкнутый круг. Но голос его — звучал. По тону, когда-то взятому, по свету, в нём сохранённому, его различали, вслушиваясь в гул неровный бесчасья.

Губанов стоит в ряду таких русских поэтов, как Кольцов, Некрасов, Клюев, Есенин, Павел Васильев, Клычков. Но его очень русское по духу творчество, в силу своей жёсткой привязанности к трудному времени, уже и какое-то иное, совершенно другой музыкой звучащее, и речью, связанной с прожитым им, отпущенным ему, временем, которое мёртвой хваткой держало его, не давая ему возможности встать над ним, несколько отстраниться от него, чтобы видеть его по-особому, — но всё это мне ещё трудно выразить...

Как бы там ни было, был он поэтом изумительного дарования.

...Какое-нибудь мурло, этакий тип, типус, бес, может быть — мелкий, а может — и покрупнее, провокатор, предатель — оптом — всех и всего на свете, лишь бы только ему как-нибудь в жизни пристроиться, злобствующий, завистливый, может быть — даже из нашей — в прошлом — честной компании, лживый и беспринципный, действующий по принципу гнусному: все средства для достижения цели подлой его хороши, — запросто может, предвижу, и даже довольно скоро, взять да и опорочить, грязью облить и Губанова, и прежних своих товарищей, — поскольку давно он служит, дьяволу душу продавший, мраку и разрушению, маразму, насилию, злу.

Такой вот герой охотно, с ехидством, с бесстыдством, с нахальством, за коим привычно прячутся его же слабость и трусость, с его самомнением липовым, с его лелеемой низостью, с крохой способностей, крохой, раздутой до безобразия, легко, этак походя, лихо, умело, смакуя подробности, — такое, поди, накаляет, что имени нет ему, — и думать будет, небось, что вот, мол, он, махом одним, со всеми разом, расправился, — поскольку он-то, в отличие от всех, кого он охаял, конечно же, сверхчеловек, а все мы — ну кто для него? — да так, эпизод, и только, — и, следовательно, ему и врать, и клеймить позволено любого из тех, с которыми делил он в былые годы и скудную

пищу, и кров, любого из тех, которые чисто-сердечно, искренне ему помогали, верили и даже наивно думали, что он человек, а не бес, — и, краем сознания всё-таки, видно, помня об этом, тем более он, особенный, как он считает, избранный, ожесточится, злобствуя, может и в раж войдёт, всё потому, что враг он всем, враже, и другом не был он ни для кого, но циником — был, эгоистом — был, был расчётлив, без лирики, стал — неприличен, в жизни ли, в творчестве ли, в поступках ли, в сущности ли своей, — так почему же типу, бесу, — не накатать что-нибудь третьесортное, лишь бы читалось, такими же, мелкими и продажными, жадными до подробностей нашего бытия, — к тому же надо учитывать, что сила уходит бесовская, и зло уходит всемирное, вместе с эрою Рыб, — и надо спешить, куда ещё не пришла иная, с эрою Водолея, сила добра и света, которая типа, беса разом перечеркнёт, — вот он и накатает опус, типус и бес, и отнесёт сей опус, ни секунды не медля, прямо в издательство, к бесам, дрянь издающим, к своим, — и те, разумеется, тоже незамедлительно, сразу, выпустят этот опус типа, в виде книжонки мерзостной, дабы успеть им злу на земле послужить.

Предчувствую — так всё и будет. Всякое здесь, в России, бывает — в наши-то дни. Всё

это — как бы время. Есть у него — как бы книги. Как бы герои. И даже — как бы сверхчеловеки. В как бы сверхчеловеках — ничего человеческого нет. Есть — как бы низ. А верха — духа, зренья и слуха, мозга людского — нет. И тем более нет всего, что — сверх человеческого верха. Света и созидания. Веры, надежды, любви. Радости, мудрости, счастья. Нет сострадания, участия в творчестве мироздания. Вскоре простынет их след. Кончится как бы время — сгинут сверхчеловеки. Все и вздохнут посвободней: слава Богу, что — так. В небо гляжу — и вижу: нету под ним Парижа. Русь есть — под русским небом. В нём — возрожденья знак.

...И насколько верны ведь бывают прозренья мои!

Жива поэзия — и в ней Губанов жив. Такой, каков уж есть. Чей дар — от Бога. Жива поэзия — и света в сентябре достаточно, чтоб вспомнить о былом и ясно вдруг увидеть: это — живо. Живёт — и всё тут. Существует. Есть. Звучит высокой музыкой былого.

□

Владимир Дмитриевич АЛЕЙНИКОВ

родился в 1946 году в Перми.

Окончил искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ.

Основатель и лидер легендарного литературного содружества СМОГ.

Начиная с 1965 года стихи публиковались на Западе.

Издаваться на родине стал в период перестройки.

Автор многих книг стихов и прозы — воспоминаний об ушедшей эпохе и своих современниках.

Лауреат премии Андрея Белого.

Член ПЕН-клуба.

С 1991 года живёт в Коктебеле и Москве.

